

A decorative border of watercolor flowers and leaves in shades of red, pink, blue, and green, arranged in a diamond shape around the central text.

ПАСХАЛЬНЫЙ
СБОРНИК
СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА



*Ангелы поют
на небесах*

ПРОЗА
И СТИХИ

Сборник

**Ангелы поют на небесах.
Пасхальный сборник
Сергея Дурылина**

«Никея»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)+ 86.372

Сборник

Ангелы поют на небесах. Пасхальный сборник Сергея Дурылина /
Сборник — «Никея», 2019

ISBN 978-5-91761-973-6

Настоящий сборник – часть большой книги, составленной А. Б. Галкиным по идее и материалам замечательного русского писателя, богослова, священника, театроведа, литературоведа и педагога С. Н. Дурылина. Книга посвящена годовому циклу православных и народных праздников в произведениях русских писателей. Данная же часть посвящена праздникам определенного периода церковного года – от Великого поста до Троицы. В нее вошли прозаические и поэтические тексты самого Дурылина, тексты, отобранные им из всего массива русской литературы, а также тексты, помещенные в сборник его составителем, А. Б. Галкиным.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)+ 86.372

ISBN 978-5-91761-973-6

© Сборник, 2019
© Никея, 2019

Содержание

От редакции	6
Великий пост	7
Александр Пушкин	8
Отцы пустынноики и жены непорочны...*	8
Федор Тютчев	9
«О вещая душа моя!..»	9
Иван Шмелев	10
Из книги «Лето Господне»	10
Анна Ахматова	20
«Я в этой церкви слушала Канон...»	20
Исповедь	20
«Кого когда-то называли люди...»	20
Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля)	22
Александр Сумароков	22
Стихиры Пресвятой Деве	22
Владимир Бенедиктов	23
Благовещение	23
Федор Туманский	24
Птичка*	24
Сергей Дурылин	24
Из романа «Колокола»	24
Михаил Кузмин	30
Благовещенье	30
Валерий Брюсов	31
Благовещенье	31
Марина Цветаева	31
«В день Благовещенья Руки раскрещены...»	31
Иван Шмелев	32
Из книги «Лето Господне»	32
Память преподобной Марии Египетской 1 (14) апреля	39
Михаил Кузмин	39
Мария Египетская	39
Сергей Бехтеев	40
Мария Египетская	40
Лазарева суббота	44
Федор Достоевский	44
Из романа «Преступление и наказание»	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

**Ангелы поют на небесах. Пасхальный
сборник Сергея Дурылина
Составитель Александр Борисович Галкин**

Допущено к распространению

Издательским советом

Русской Православной Церкви

ИС Р19-817-0630

От редакции

Выдающимся писателем, священником и богословом С.Н. Дурылиным была задумана книга, где годовой круг церковных и народных праздников представлен глазами русских писателей и поэтов, причем костяк составляют его собственные прозаические сочинения и поэтический цикл «Венец лета». Завершить замысел он не успел, однако исследователь его творчества А. Б. Галкин взял на себя труд дособрать указанные и намеченные Дурылиным произведения, дополнив их рядом текстов, отвечающих авторской концепции.

Пасхальный сборник «Ангелы поют на небесах» – часть этой большой книги. Он включает в себя произведения, посвященные праздникам определенного периода церковного года – от Великого поста до Троицы.

Для удобства чтения дни церковных праздников и памяти святых расположены помесно с краткой аннотацией на каждый из них.

Тексты, отобранные Дурылиным, отмечены звездочкой.

Большинство произведений печатается в современной орфографии и пунктуации за исключением случаев, где, по мнению составителя, сохранение старых норм служит большей художественной выразительности.

Особенности авторской лексики и словообразования сохранены без изменений, все авторские выделения приведены курсивом или полужирным.

Многие произведения сборника представлены в сокращении; места сокращений обозначены отточием в угловых скобках.

Все тексты, за исключением произведений самого С.Н. Дурылина, воспроизводятся по изданиям 1990-2000-х годов. Источники публикаций дурылинских текстов указаны в подстрочных примечаниях.

Подстрочные примечания без авторства принадлежат составителям тех изданий, по которым произведение публикуется.

Некоторые тексты не датированы.

Великий пост



Стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустыnnики и жены непорочны...» является поэтическим переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалаия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения
И не осуждати брата моего,
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

В этом стихотворении, написанном поэтом незадолго до смерти, зрелый Пушкин переосмысляет главную идею своей жизни и творчества – идею свободы, которая теперь понимается им как смирение и следование воле Бога. В этом заключается, по Пушкину, высшая свобода, чуждая личного произвола. Знаменательно, что смерть Пушкина 10 февраля (29 января) 1837 года совпала с днем совершения христианской церковью памяти св. Ефрема Сирина.

Александр Пушкин

Отцы пустынноики и жены непорочны...*

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

Федор Тютчев

«О вещая душа моя!...»

О вещая душа моя!*
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилища двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Иван Шмелев

Из книги «Лето Господне»

Чистый понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – филищик Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал, – «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.

– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь Василии простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

– Вставай, милоч, не нежься... – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» – заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угольники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он засушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».

– А почему папаша сердитый... на Василь Василича так?

– А, грехи... – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай – «Господи, Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере,

зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресение Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на Небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет – «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

– Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого дня дожидаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. – поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни... по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина – «Красавица на пиру» – закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон

стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», – и притаиваюсь за дверь. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, – злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. – И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

– Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... Чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... – докладывает, нагибаясь, Василь Василича и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

– Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антитеррора. К ночи пьяные навалились – катать! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жоже! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

– А ты трезвый?

– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали и с кулками... Очень я им пондравился...

– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

– Забрали меня силом на дилижан, погнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу – Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побил... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антитеррора-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

– Антошка с Глухим как, лежат?

– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясе-

ния-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропал а... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

– Ступай... – упавшим голосом говорит отец. – Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощение просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь Василии видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, – я вижу его нахмуренные брови, – считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и – звонко – серебро.

– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ушипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, – «от угара». Плотники, сходявшие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

– ... и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... – и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

– Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, – чи-чи-чи...

Я тихо сижу и слушаю.

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, – я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василия тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.

– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь Василича.

– Василь Василии! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. – Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону, и строго, Василь Василии. – Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

– А ты не серчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

– А так, что вчера ломились на горы, масляная... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто где. Я из всех сумок повыйтряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Воту меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь Василии и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василии. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василии, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василии, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

– Нечего проклажаться! Эй, робята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвоят – некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василии смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

– Постишься, Вася? – посмеиваясь, говорит Горкин. – Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинчики-то повыйтряем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой.

Начинают печально благовестить – по-мни... по-мни... – к ефимонам.

– Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

– Василь Василия... зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий блавест, Горкин мне говорит взволнованно, – дрожит у него голос:

– Так и поступай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... пещи. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нут...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий блавест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... – я и теперь его слышу в сердце.

Ефимюны

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния.

Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов, должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой – старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

– Горкин, – спрашиваю его, – а почему стояния?

– Стоять надо, – говорит он, поокливая мягко, как и все владимирцы. – Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому – их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют – ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

– Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», – это я выучил в молитвах. И еще – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще – радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целомудрие», – будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние., как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там – прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещение в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, – много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны.

И кругом уже все – такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва-халвой, – совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

– Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?

Он говорит – это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

– Пожалуй что, и вся тварь воскреснет... – задумчиво говорит Горкин. – А за что же судить! Она – тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг – воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

– Хозяин выгнал за безобразие! – говорит Горкину половой. – Дни строгие, а он с масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

– За шары подавай!.. – кричит парень ужасными словами.

– Извоишки спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... – кричат половые вслед.

– Пойдем уж... грехи с этим народом! – вздыхает Горкин, таща меня. – А хорошо, строго стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!..

И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят коробка снетка, свесила

хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусовых пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, – пошла работа! Стелется вязкий дух, – теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

– Постой-ка, – приостанавливается Горкин на площади, – никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румяненек старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плюсом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, – неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, – постукивают в них кости.

– Жирнову, что ли? – спрашивает у народа Горкин.

– Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он – как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку, – через реденький коленкор сквозится сено, – жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает – по-мни... по-мни..

– В Писании-то как верно – «человек, яко трава»... – говорит сокрушенно Горкин. – Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василии из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, свои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там...

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

– Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, – ласково просит Горкин, – «И прославлю Его, Бог Отца Моего» поворчи погуше.

– Ладно, поворчу... – хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. – В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещение

на кулебячку не забудь позвать, напomini старосте... – хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. – С прошлого года вашу кулебячку помню.

– Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

– А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечи теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева – трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот – «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стучается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает:

По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасение...
Сей мо-ой Бо-ог...

И начались ефимоны, стояние.

Я слушаю страшные слова: «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душе-блудница... во тьме остави мя, окаянного!...»

Помилуй мя, Бо-же... поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки... «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-по-мышляю, – и падаю на колени, в страхе.

Душе мо-я... душе-е мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа...аа-ется..

Господи, приближается... Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь – и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь Василя, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи,

сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» – молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои – в другом.

Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками... На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай... «Господи Сил»... И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой:

Господи Си-ил
Поми-луй на-а...а...ас!

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом:

Господи и Владыко живота моего...

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я – ровно двенадцать раз: Боже, очисти мя, грешного... И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаясь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» – думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. – Непременно воскреснут! А это... только на время страшно...»

Дремлет моя душа, устала...

– Крестись, и пойдем... – пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. – Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.

Уже совсем темно, но фонари еще не горят, – так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, – к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом; только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза; там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?... Да нет, не надо...

– Глянь-ко, опять мотается! – весело говорит Горкин. – Он самый, у бассейны-то!..

У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.

– Никак все с шарами не развяжется!.. – смеются люди.

– Это я-та не развяжусь?! – встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. – Я-та?... этого дерьма-та?! На!..

Треснуло, – и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.

– Вот и развязался! Завтра грибами заторгую... а теперь чай к Митреву пойдем пить... шабаш!..

– Вот и очистился... ай да парень! – смеется Горкин. – Все грехи на небо полетели.

И я думаю, что парень – молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, – первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стучают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче...

– Нет, не галки это, – говорит, прислушиваясь, Горкин, – грачи летят. По гомону их знаю... самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..

У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.

– Эй, Мураша... давай-ко ты нам с ним горячих вязочку... с пылу, с жару, на грош пару!

Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.

– С Великим постом, кушайте, сударь, на здоровьице... самое наше постное угощенье – бараночки-с.

Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.

1933–1948

Анна Ахматова

«Я в этой церкви слушала Канон...»

Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный,
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой.
Прощались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не встретиться...

Петербург, 1917

Исповедь

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос: «Дева! встань...»
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

Царское Село, 1911

«Кого когда-то называли люди...»

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит – и Чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...

Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима – все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.

Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.

Москва, 1945

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля)

Праздник Благовещения был установлен Церковью в воспоминание евангельского события – явления Архангела Гавриила Деве Марии и возвещения Ей благой вести о рождении Ею Христа, Спасителя мира.

Александр Сумароков

Стихиры Пресвятой Деве

1

Совет Предвечный,
Отроковице Бог, Царь мира бесконечный,
Открыти повелел, создание любя,
И примирение Он смертным обещает.
О Дева! Гавриил предстал перед Тебя,
И се Архистратиг Тебе вещает:
«Возрадуйся, слова мои внемля,
Возрадуйся, несеянна земля!
Ты счастья глубина, всем радости творяща,
В рай путь, и Лествица, на небо возводяща,
И Купина, без тления горяща,
Ты манна с небеси земным родам.
Тобой клятва пала,
В которой прежде вся вселенна утопала:
Тобою восстановлен Адам.
Возрадуйся сей счастливой судьбою!
Царь неба и земли с Тобою».

2

«Являешься мне ты яко человек,
И непостижныя ты Мне слова изрек, —
Она ответствует, – рек ты, что Бог со Мною
И что Творец и горней Царь стране,
Вселится во утробу Мне,
Но погнушается Он смертною женою.
В Себе ли место Мне свещения найти,
И херувимскую Мне славу превзойти:
И невместимого в Себе ли Мне вместити?
Не тщию лестию ты сей Меня прельстити.
К пороку дев Я чувствую вражду,
И непорочности всегда была подвластна,
А браку не причастна;

Так коим, отроча Я способом рожду?»

3

«Колико все сие ни чудно;
Не трудно
Безмерной силе Божества
По воле победить порядок естества.
Святая Дева! Ты надежно можешь верить
Не ложному глаголу моему:
Пренепорочная! из смертных никому
Нельзя Премудрости Всевышняя измерить».
«Так буди Мне по слову Твоему, —
Пречиста вопиет ему, —
И да исполнится сие велико дело;
Рожду бесплотного, Мое приимша тело;
Да обновится тем блаженный оный век,
Который погубил в Едеме человек!
Слова твои приемлю:
Через рабу Свою нисходит Бог на землю».

Владимир Бенедиктов

Благовещение (к картине Боровиковского)

Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой Деве Назарета:

Дышит радостью чело,
Веют благовестью речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.

Кто Сия? Покров лилейный
Осеньет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник;

Скрещены на персех руки,
В персех сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:

«Дева! Сын Твой будет Бог!»

Этот юноша крылатый —
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощения,

А пред ним — полна смиренья —
Дева, Матерь Божества.

1856

Федор Туманский

Птичка*

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певичку,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сиянии голубого дня,
И так запела, улетаю,
Как бы молилась за меня.

Сергей Дурылин

Из романа «Колокола»

Часть 3, глава 5

На Благовещенье, как на Светлый день, солнце играет. Звон колокольный играет в этот день с солнцем — радостный, легкий, веселый. Ему указано в этот праздник: «Благовестуй земле радость велию!» В Благовещенскую утренью Архангел с Богородицей в церкви разговаривают. Канон за утреней, в Темьяне, в соборе, читали на два голоса: за Архангела читал псаломщик, Кратиров, за Богоматерь — ранний батюшка, отец Михаил¹. Любители сходились со всего Темьяна послушать, как, стоя на разных клиросах, мудрственно и смиренно будет отец Михаил, Богородицыными словами, перечить Архангелу, приветствующему Пречистую усладительным голосом Кратирова², облаченного в белый стихарь (отец Михаил, в вишневой рясе, с епитрахилью из белого шелка).

Великопостный вседневный звон тихим ненастьем висел, в течение долгих недель, над городом. В Благовещенье прорывалось это ненастье яркими солнечными лучами. Многие звонолюбцы прашивали у Николки позвонить к благовещенской обедне: благовещенский звон —

¹ Канон Благовещению построен как диалог Архангела Гавриила и Пресвятой Богородицы. (Прим. ред.)

² Кратир— кубок, чаша с вином (греч.).(Прим. ред.)

скорбей отгон, – но Николка, поглядывая с колокольни на площадь, всем отказывал. Чумелый отводил в сторону обиженных любителей и разъяснял:

– Расстригу ждет.

Перед самым началом звона показывался на площади старик в порыжелом ватном халатике выше колен, в высоких сапогах, облепленных весенней грязью. Ветер, вешний вольный шатун, тербил и путал его седые волосы. Обеими руками прижимал старик к халатику клетки с птицами, и к двум большим пуговицам, пришитым почти под подбородком, были прилеплены у него две деревянные клеточки. Старик спешно шагал к колокольне, высвобождая ноги из топких западней и капканов, расставленных весной и солнцем в липучей грязи и в последнем снеге, дотаявавшем на площади. Мальчишки бежали впереди, заглядывая в клетки с птицами. У двухтрех из них также были в руках клеточки. Старик в халатике с трудом влезал на колокольню с своим птичьим грузом. Николка приветливо встречал его. Чумелый заглядывал в клетки.

– С праздником, братие! – с улыбкою возглашал пришедший.

– Взаимно и вас, – отвечал за всех Николка.

Пришедший, с помощью Чумелого, принимался разгружать птичий груз.

– Чижи у вас ныне очень хороши, Серафим Иванович, – замечал Чумелый, отцепляя клеточку от большой пуговицы, – с зобиками.

– Ползимы кормил.

Серафим Иванович расстегивал халатик, отирая пот с чела.

– Раскормили. Полетят ли?

– Полетят ли? – переспрашивал старик и раздумчиво повторял еще: – Говоришь, полетят ли?

Он подходил к пролету и, сделав ладонью навесик над глазами, смотрел на солнце. Насмотревшись, обращался к Николке:

– Играет... Только будто тусклей прошлогоднего. Как находишь, Никола Петрович?

– Будто, тусклей, – отвечал Николка.

– И замечаю: с каждым годом тусклей, будто нерадостней играет. Или смотреть на грязь людскую око у него уж натрудились? Бельмо мы нагнали ему своим зложитием. Или это сами мы с тобой тускнеем год от году, Никола Петрович, а на солнце валим свою тусклоту? А? Это будто вернее? А солнышко светит по-прежнему.

Старик рассмеялся, как золотой горошек рассыпал звонко по хрустальному блюду, и повернулся к Чумелому:

– Полетят! Еще как полетят, прелюбезный мой!

Мальчишки обступили птиц. Серафим Иванович нагнулся над ними:

– Вот прогостили у меня зиму редкие гости: клест-шишкоед, смоляная душа, да стриже-хромец. Думал, не выживет – нет, отходился: свистит. А в тех, в больших клетках, зяблики, синички, горихвостки. Скворец есть один. Словоперевертатель. Я его учу: «аминь!», а он – «кинь!».

– Сколько, дедушка, у тебя их всех-то? – любопытствовал русский мальчик, поджимая под мышкой клетку с худеньким чижиком.

– Всего у меня двенадцать душ, и все по-разному: какая душа чирикает, какая душа свистит, какая пленяет, какая словеснствует, а всем на волю хочется. И премудрость: чуют, что я на волю ихнее, – безбоязны, бестрепетны. Слышишь, как играют.

Птицы щебетали и возились в клетках. Дети слушали с открытыми ртами.

– А зачем ты, дедушка, клетки на колокольню ташил? – спросил бойкий мальчик в голубой рубашке. – На лугу у нас пускают, за Булыжным колодцем.

– А затем, прелюбезный, чем выше, тем от темницы дальше. В небесах темниц нет. Не строят. Все темницы до одной на земле построены. Выпускал и я прежде на лугу, и около

дома своего выпускал. Выпущу, бывало, и радуюсь, твержу, как дурак: «Я возвратил свободу ей», – а того и не знаю, что кругом умные по кустам да по прикровенным местам уже зернышек насыпали, силки порасставляли: хлоп! – и опять моя певича в темнице! Темнице творец – человек. Вот я и надумал: повыше – подальше от земли, к воле поближе. Отсюда и пускаю.

Николка посмотрел на солнце.

– Благовестить пора.

Серафим Иваныч засутился около клеток. Мальчики осаждали его:

– Дедушка, дай, я пущу!

– Мне снегиря!

– А мне пеночку!

– Дедушка, дай чижечка!

Серафим Иваныч бережно вынимал из клеток птичек и вручал их мальчикам:

– Крылышек не помнй! Держи остороженько. У птицы душа легкая, у человека руки – грубуки: замять легко. Как зазвонят, руки повыше подними и пускай на волю! И пожелай ей вольное житье найти!

Раздав детям птиц, Серафим Иваныч оставлял себе всегда самую невзрачную птичку, – и на этот раз это был с трудом выхоженный им стриж.

Он расставил детей у пролетов колокольни, снял шляпу, перекрестился широким тщательным крестом и ждал первого удара колокола. Как только Николка ударил, старик далеко в воздух протянул руку с птицей и пустил ее, подкинув птичку, прошепचा:

– Благовествуй земле радость велию!

Одновременно с ним несколько детских ручонок, со всех сторон колокольни, протянулись в воздухе, быстро разжали кулачкй – и птицы взлетнули на еще слабых крылышках. Одни скоро пропали в весенней синеве, другие, робко покружившись в воздухе, опустились на кровлю собора, а третьи, перелетев площадь, сели на крыши домов; посидев и отдохнув, те и другие улетели за город. Теплый ветер, зачерпнув красного благовещенского благовеста, подгонял их к лугам, к лесу, к полю. Выпустив птицу, Серафим Иваныч звонил со звонарями.

По лицу его катились слезы. Николка и Чумелый старались не смотреть ему в лицо в это время. Василий ударял в грузный соборный на верхнем ярусе. Дети оставались у перил пролетов и гадали, чья птица дальше улетит? кто выше зареет – чиж или зяблик? Им хотелось выпытать у старика, ладно ль они выпустили птиц и кто ловчей подбросил птичку в воздух? Мальчики поглядывали на старика и недоуменно шептались: он звонил и плакал.

Отблаговестив, Серафим Иваныч собирал свои клетки и прощался, но Николка всегда зывал его в каморку отдохнуть. Туда же приходил и Василий.

В этот год сели в каморке и молчали. Василий поздоровался со стариком:

– Птица ваша летела нынче ходко. Я с вышины смотрел. Только все равно люди поймают.

Серафим Иваныч не возражал, а Николка заметил:

– Ну, не всем ловить. Надобно кому-нибудь и выпускать.

– Я не против того. Я только к тому, что ловцов больше, чем пущенцов. Всяк поймать норовит. 365 дней ловят, а в который выпускают – один день в году.

– Один, – подтвердил Серафим Иваныч. – Только и есть один. Решил в этот день человек свободой Богу праздновать. Во все другие дни молитвой празднует, фимиамом, красотою церковною, а в этот – свободою. Краше для меня этот день всех дней в году.

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?³

³ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Птичка» (1823), написанного им во время пребывания в южной ссылке и тоже,

Николка усмехнулся.

– Неужели не за что роптать, – ну, хоть не на Бога, а на кого поменьше? Живешь ты за городом, трудишься, пчел водишь, за садом ходишь, столярничаешь, а для всего города будто ты дикий или в свежую краску выкрашен: бояться, как бы о тебя не запачкаться. Обходят тебя.

Серафим Иваныч ответил с твердостью:

– Не за что роптать. Конечно, не за что. Что тут удивительного, что сторонятся? Я – расстрига. Я – недомерок: ни на чью ногу не прихожусь. Вон Василий Дементыч знает, какие бывают недомерки.

– Знаю, – сказал Василий, – а бывают такие ноги, что недомерком как раз на нее и угодишь.

– Бывают. А я иду – и дети за мной: «Расстрижка – огрызная кочерыжка!» Я – ничего. Всякий сам свой груз несет. А я сам его на свои плечи навалил.

– А не другие? – недоверчиво спросил Николка.

– Сам. Другие, наоборот, снять хотели. А я не допустил. Я путаник. Меня отец Гавриил, благочинный, так и звал. «Есть, – говорит, – путники, а есть путаники. Ты велию⁴ петлю вокруг себя опутал. И я разрублю ее, хоть не Александр Македонский». Только не разрубил.

Улыбнувшись на что-то вспомнутое и радостное, Серафим Иваныч продолжал:

– Сказал я, прелюбезные, что день этот я без слез не встречаю. Сама собой набегит. И не служу, вот уже десять лет не служу, и «Архангельский глас» не пою, а слезу сберег. На нее запрещение мое в сане и священнослужении не распространилось. Колесо в одной только точке касается земли, а всеми остальными обращается в воздухе. Я – колесо: весь в воздухе, а только малой точкой прикасаюсь на секунду к земле бытия моего – и плачу⁵.

Сегодня эта точка моя благовестуется. Мать Божия, Архангелом обрадованная! Расстрига я. Волосы в скобку. Прав не имею. А был иерей Геликонский Серафим⁶. В Перегудове, двести верст отсюда. Приход получил городской в приданое за женой. Протоиерея, отца Павла Ефесского, она дочь была, Царство Небесное. Диссертация его существует «О пребывании Илиинном». Мудреная. Важен был и многопопечителен. Иерейца моя, Анна Павловна, была слабого здоровья. И я ее хранил. Она ни к хозяйству, ни к чему у меня не принуждалась. Сидит, бывало, в кресле, и бухарского кота Полежайку расчесывает или вяжет на столышки гарус⁷. А дом от отца протоиерея достался полнехонек: и пеун, и мяун есть. И все из дому плышет. Я вижу, что плышет, но что сделаешь? Хранил я жену. Смеюсь, бывало, про себя: «Ну что ж! При отце Павле прилив был, при отце Серафиме – отлив. Всему свой черед». И к тому же – «всяческая суета». Но приехала к нам свояченица, поглядела на наш отлив и говорит:

как в романе Дурылина, связанного с обычаем отпускать птиц в праздник Благовещения. (Прим. сост.)

⁴ Велию – большую, великую (церк. – слав.). (Прим. сост.)

⁵ В своей статье 1928 г. «Монастырь старца Зосимы» Дурылин цитирует прея. Амвросия Оптинского по книге архимандрита Агапита «Жизнеописание Амвросия» (М., 1900. Т.1. С. 97): «...мы должны жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной гайкой касается земли, а остальные непременно стремятся вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не можем». (Архив Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина, КП-258/10). (Прим. сост.)

⁶ Геликон – труба. Серафимы – значение этого слова по одним: пламень, горение, а по другим – возвышенный, благородный – один из девяти чинов небесной иерархии, ближайший к Богу, упоминаемый прор. Исаиею в связи с его видением (Ис. 11: 2, 6). Темьянский поп-расстрига Серафим Геликонский – это ангел Апокалипсиса. Его имя возникает из стиха «Откровения», так что персонаж романа превращается в эмблематический образ (см. иллюстрацию к Апокалипсису Альбрехта Дюрера): «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Образ Серафима Геликонского во многом выражает авторскую идеологию и отчасти даже превращается в альтер эго писателя, что вовсе не отменяет иронию и юмор как обертоны образа. Факты личной биографии Дурылин преобразует в материал для создания образа Серафима: самого Дурылина облыжно обвиняли в отречении от священнического сана и называли попом-расстригой. 15 стих 11 главы Апокалипсиса, который Дурылин сжимает до имени героя, кратко определяет сущность философии Дурылина о радостном преображении земного существования в Небесное Царство Невидимого града Христова. (Прим. сост.)

⁷ Гарус — род грубой шерстяной пряжи. (Прим. сост.)

«Это у вас безобразие. Я привезу вам человека, не то у вас все хинью пойдет». И привезла вдову дьяконицу Марью Сергеевну, с четырьмя детьми, мал мала меньше. Аннушка дала ей ключи: «Сестра вам верит. Говорит: плывет у нас все. Может быть, что-нибудь удержите? Мне ничего не надо. Я только свежие щи люблю с маслинами; чтобы были; еще грибную икру». И вот удивительно: Марья Сергеевны мы не видим, голоса ее не слышим, а и пеун⁸ у нас стал кричать кукареку погромче, и мяун все по углам облизывается. Кончился у нас отлив, опять прилив начался. Аннушка тишину любила. Ковром у нее дверь была обита. Она вяжет, бывало, Полежайку расчесывает или читает «Юрия Милославского». Покой ей полный был врачами предписан. Марья Сергеевна в кухне или около пеунов с мяунами за прибором следит. А детям, четверем-то, мал малу-то, куда ползти и бежать? Одна дверь в ковре, приперта крепко, за другой дверью мать приливом занята. Моя одна открыта – вот они в мою и лезут: кто ползет, кто бежит. Прелюбезные, на крючок ли мне было запереться?

Он виновато улыбнулся – и улыбкой будто руками развел.

– И свою дверь затворить и оставить их между тремя дверьми в сенцах ползать? Не запер, да, признаться, и крючка на двери не было. У меня они копошились; росли около меня. Я и не заметил, как ползунки на ножки встали да у меня же за азбукой потянулись. Тут горе пало: в три дня моя Анна Павловна собралась «аможе вси человецы пойдем»⁹. Похоронил я ее, поплакал. Дверь к ней, как была ковром обита, так и осталась, и ходу в нее нет. Все по-прежнему. Приезжает ко мне свояченица, Павла Павловна. Похвалила прилив, детей приласкала, а мне: «Вам, Серафим Иванович, теперь отпустить надо Марью Сергеевну». – «Почему?» – «Потому что вы теперь вдовец, а она еще молодая женщина». – «Куда же, – говорю, – мне ее отпустить с детьми?» – «А места в России, – говорит, – много». Я ей ничего не ответил. Уехала. Живем по-прежнему. Присылает мне благочинный сказать, что в Воздвижение сам у меня в церкви крест будет воздвигать. Милости прошу, отвечаю. Воздвиг. Поужинали. Переночевал я в покойницыной комнате. Обедню отслужил. При отъезде говорит мне: «Благолепием я, отец Серафим, в храме вашем доволен, служение ваше умирительно, но надлежит вам в домовом обиходе нечто усовершенствовать». – «Что же? – думаю про себя, – разве ужином его вчера не угодили: стерляди, кажется, были отличные, а грибной икры такой ни у кого в городе нет. Или клопы, может быть, покусали? – так у нас чистота. Разве постель не мягка была?» Молчу. Жду, что скажет. «Вы, – говорит, – отец Серафим, сами, конечно, догадываетесь, о чем я говорю?» – «Нет, – отвечаю, – отец благочинный, признаться, не догадываюсь». – «А! – протянул. – Не догадываетесь. Так я вам скажу: вы – вдовец, и, по канонам, по правилам апостольским, не подобает вам держать в доме женщину лет отнюдь не преклонных». А я ему не сразу и нашелся ответить. «Да ведь дети, – говорю, – у ней. Куда ж с детьми?» – «Дело, – он мне, – не в детях, а в летах. И дети только могут послужить к вящему¹⁰умножению соблазна». Встал. Поцеловались¹¹мы. «Впрочем, я понимаю, – говорит, – не так-то легко на вдовцово положение переходить. Даю, – говорит, – вам срок: к Великому посту чтобы по канонам все было у вас исправлено». Проводил я его. «По канонам исправлено?» – шепчу, а четыре моих лезут ко мне: одному – читай, другому – рассказывай, третьей задачу проверяй, а самый маленький коня из бумаги сует мне: играй! «Исправить я должен вас по канонам, – думаю, на них глядя, – на улицу выгнать». Подумал да себя же за безумные слова сии укорил: «Да чьи же они? Мои. И выгоню – так, как котята к кошке, назад ко мне же приползут». Они возьтятся на диване. Я смотрю: «Куча-то эта моя? Или чья?» Позвал Марью Сергеевну и тихонько на них показываю: «Чьи они?» – «Их спросите». – «Чьи вы?» А они облепили меня: хохочут, теребят, целуют.

⁸ Пеун — петух (устар.). (Прим. сост.)

⁹ Аможе вси человецы пойдем — куда все люди отправляются (здесь: смерть) (церк. — слав.). (Прим. сост.)

¹⁰ Вящему — большему (церк. — слав.). (Прим. сост.)

¹¹ Поцеловались — поцеловались, облобызались. (Прим. сост.)

Всю зиму я с ними возился. Времени не заметил. Хорошо-то хорошо, а, чувствую, не хватает мне еще кого-то. Вглядываюсь в лица: Коля, Ваня, Катя, Андрюша. Один за задачей, другая за глобусом, третий кряхтит над прописями, четвертый рисует. Что ж, думаю, никто не ползает? Полноты картины нет. Не хватает ползунка, явно не хватает. И захотелось мне, чтоб ползал у меня кто-нибудь. Ну, ведь и не заметил, как стало их у меня не четыре, а пять.

Серафим Иваныч замолчал. Голуби ворковали где-то близко и неумно.

– Ну, коротко все остальное. Благодичный долго ко мне не заезжал, а заехал. «А, – говорит, – пятый у вас. И те, – говорит, – четверо, – *ваши*!» – «*Мои*», – говорю.

Уехал, ничего не сказал. Вызывают в консисторию – и к владыке. «Расстрижем, – грозят. – Служишь к преткновению удобопретыкающихся¹²». – «Так преткните меня, – отвечаю, – коли так». Я глянул перед тем в каноны: там так и сказано: «да извержется». Ну и извергли меня. Справедливо. Права жительства в Перегудове я был лишен. Переехал сюда: у Марьи-Сергевниной тетки был здесь домишко, в Пушиной слободке, и пять ульев. Я пчелой занялся. Столярничаю. В церковь редко хожу: нехорошо, других соблазняю. Претыкаются о меня: «С расстригой стоять – благодати не видать». Звон церковный глухо до нас долетает: по реке уносится. Только и слышу звон, что в улье: пчела гудит, рой звенит. Колокола у нас свои – сотовые. Но в этот день, прелюбезные, сердце горит. Благовестуй, земле радуйся». Слышите: «земле» сказано в этот день радоваться. Земле! Небо-то всегда радуется. Обрадовался человек и решил в этот день Богу свободой послужить. Накоплю за зиму узников – и пушу в этот день!

Снизу повестили в ясак¹³ ударять к «Верую». Николка и Василий пошли к колоколам. Серафим Иваныч забрал клетки и, прощаясь, зазывал к себе на Обруб.

– Мед у меня в этот год золот. Пчелы зимовали хорошо, и весна спорая: медистое лето предвещает.

При выходе с колокольни встретился соборный причетник Ктиторов и пробасил:

– Отец настоятель наказали передать, чтоб меду им прислать гречишного.

– Пришлю, – ответил Серафим Иваныч.

Мальчишки ожидали его поодаль. Они обступили его.

– Дедушка, подари клеточку!

Но он качал головой:

– Клетка – темница, а сей день – воли день. Солнце играет.

– Чижи твои в луга улетели! – наперебой сообщали ему ребята накопившиеся птичьи новости. – Стриж округ собора летает! Клест на елку в Асташевом саду сел. Скворец в Пашукину скворешню влетел.

– Устроятся на воле, все устроятся, прелюбезные.

Серафим Иваныч медленно, усталый, брел по городу. Его останавливали припомаженные гостинодворцы, возвращавшиеся от обедни:

– Клетками торгуете, Серафим Иваныч? Прекрасная коммерция. Почему продаете?

Серафим Иваныч шел молча.

Щека издали махал ему шляпой (он никому не подавал руки), а в «Диарии»¹⁴ своем отмечал:

«Встретил птицевыпускателя Геликонского. Промышление о птичьей свободе при всеобщем людском холопстве есть признак явный рабства российского. Однако распоп Геликонский уважения достоин».

¹² К преткновению удобопретыкающихся — здесь: к соблазну легко соблазняющихся (церк. – слав.). (Прим. сост.)

¹³ Ясак, согласно Далю, особый колокол при церкви, с помощью которого дают знак звонарю, когда благовестить и звонить, а когда перестать (Прим. сост.).

¹⁴ Диарий — дневник. (Прим. сост.)

С Обруба открывалась вся ширь темьянских заливных лугов. Первые жаворонки заливались над бугорками, пригретыми солнцем.

Густой красный звон несся из города. Геликонский не свернул в свою Пущину улицу, а вышел в поле. Он ненадолго сел на обсохший бугорок, прислушиваясь к звону и жаворонкам.

По-весеннему переливался воздух, пахучий и задорный, как молодое вино. Воробьи чирикали на дороге. С набухавших почками берез граяли серьезные, постные грачи. От звона, от птичьего гомона, от шелеста деревьев, от перелива ручейков, бежавших со взгорочек к взломавшему лед Темьяну, в воздухе были оклики какого-то общего радостного голоса весеннего – они окликали одновременно и над землей, и в небе, и с деревьев, и с облаков. Голос был высок, как небо, и широк, как поле.

Геликонский шел домой и тихо пел:

– Архангельский глас вопиет Ти, Чистая: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!»¹⁵

Михаил Кузмин

Благовещение

Какую книгу Ты читала
И дочитала ль до конца,
Когда в калитку постучала
Рука небесного гонца?
Перед лилеей Назаретской
Склонился набожно посол.
Она глядит с улыбкой детской:
«Ты – вестник счастья или зол?»
Вещает гость, цветок давая:
«Благословенна Ты в женах!»
Она глядит, не понимая,
А в сердце радость, в сердце страх.
Румяной розою зардела
И говорит, уняв испуг:
«Непостижимо это дело:
Не знаю мужа я, мой друг».
Спасенья нашего начало
Ей возвещает Гавриил;
Она смиренно промолчала,
Покорна воле вышних сил.
И утро новым блеском блещет,
Небесны розы скромных гряд,
А сердце сладостно трепещет,
И узким кажется наряд.
«Вот Я – раба, раба Господня!»
И долу клонится чело.
Как солнце светится сегодня!
Какой весной все расцвело!

¹⁵ Цитата из Архангельского гласа в праздник Благовещения. (Прим. сост.)

Умолкли ангельские звуки,
И нет небесного гонца.
Взяла Ты снова книгу в руки,
Но дочитала ль до конца?

1909

Валерий Брюсов

Благовещение

Ты была единая от нас,
Днем Твоей мечтой владела пряжа,
Но к Тебе, святой, в вечерний час
Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,
Дева, предреченная пророком.
Гавриил, войдя, склонился ниц
Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,
Ты покорно опустила очи.
Буди Мне по слову твоему,
Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче.

27 августа 1902

Марина Цветаева

«В день Благовещения Руки раскрещены...»

В день Благовещения
Руки раскрещены,
Цветок полит чахнувший,
Окна настежь распахнуты,
Благовещение, праздник мой!

В день Благовещения
Подтверждаю торжественно:
Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят!
— Летите, куда глаза глядят
В Благовещение, праздник мой!

В день Благовещения
Улыбаюсь до вечера,

Распростившись с гостями пернатыми.
– Ничего для себя не надо мне
В Благовещенье, праздник мой!

1916

Иван Шмелев

Из книги «Лето Господне»

Благовещение

Часть 1

А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет – такой и на Пасху будет. Смотрю на небо – ни звездочки не видно.

Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку – «...благодатная Мария, Господь с Тобою...». Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста – щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «А почему без хвоста?»

– А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет! Это ты не гляди, что замолаживает... это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.

Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если – хорошая погода. Сегодня стучал: поет дощечка! Благовещенье... и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку, – и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски: «Здравия желаю!» А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал: «Попробуй, ладно... живой рыбки-то не забудь!» Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, – только как же теперь достать?

– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем... первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещение, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось.

И ни одной-то не видно звездочки!

Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь Василич и «водяной» десятник. Говорят о воде: большая вода, беречься надо.

– По-нятно надо, о-пасливо... – поокивает Горкин, трясет бородкой. – Нонче будет из вод вода, кока весна-то! Под Ильинским барочки наши с матерьяльцем, с балочками. Упаси Бог, льдом порежет... да под Роздорами как разгонит на заверти да в поленовские, с кирпичом, долбанет... – тогда и Краснохолмские наши, и под Симоновом, – все побьет-покорезит!..

Интересно, до страху, слушать.

– В ночь чтобы якорей добавить, дать депешу ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся... – озабоченно говорит отец. – Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещение... Как, Василь Василич, скажешь? Не попрідержит?..

– Сорвать – ране трех день, не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь-п-койны-с, морозцем прихватит ночью, посдержит-с, пообождет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красна девка косы не плетет! Наказал Павлуше-десятнику там, в случае угрожать станет, – скакал чтобы во всю мочь, днем ли, ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут перейдем тогда, с мостов забросными якорьками схватим... нам не впервой-с.

– Не должно бы сорвать-с... – говорит и водяной десятник, поглядывая на Василь Василина. – Канаты свежие, причалы крепкие...

Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает-тянет. Отец спрашивает его: а? как?..

– Снега большие. Будет напор – сорвет. Барочки наши свежие... коль на бык у Крымского не потрафят – тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшную, в разгоне... Без сноровки никакие канаты не удержат, порвет, как гнилую нитку! Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка, потерлась чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса бы надо, ловчей его нет... на воду шибко дерзкий.

– Дениса-то бы на что лучше! – говорит Василь Василии и водяной десятник. – Он на дощанике подойдет сбочку, с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы...

– Пьяницу-вора?! Лучше я барки растеряю... матерьял на цепях, не расшвыряет... а его, сукинова сына, не допущу! – стучит кулаком отец.

– Уж как каится-то, Сергей Иванович... – пробует заступиться Горкин, – ночей не спит. Для праздника такого...

– И Богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, – тычет отец в десятника, – на всех мостах чтобы якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие?..

Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться – ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривеннички посыпались.

– Тсс! – погрозил отец, и все поглядели кверху.

Жавороночек запел!

В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутья, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продав его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, запел-зажурчал, чуть слышно.

Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.

– Запел!.. А, шельма – Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.

– Да явственно как поет-с, самый наш, настоящий! – всплескивает руками Василь Василия. – Уж это прямо к благополучию. Значит, под самый под праздник, обрадовал-с. К благополучию-с.

– Под самое под Благовещение... точно, что обрадовал. Надо бы к благополучию, – говорит Горкин и крестится.

Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыханье да нежное-нежное журчанье, как в ручейке.

– Выиграл заклад, мошенник! На четвертной со мной побился, – весело говорит отец, – через год к весне запоем. Запел!..

– У Солодовкина без обману, на всю Москву гремит, – радостно говорит и Горкин. – Посулился завтра секрет принести.

– Ну, что Бог даст, а пока ступайте.

Уходят. Жавороночек умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек, должно быть, спит.

– Слыхал, чирик? – говорит отец, теребя меня за щеку. – Соловей – это не в диковинку, а вот жавороночка заставить петь, да еще ночью... Ну, удружил, мошенник!

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит ведро и слышится плеск воды! «Погоди... держи его так, еще убьется...» – слышу я, говорит отец. – «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы...» – слышится голос Горкина. А, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь.

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чирик, в спальне канарейки, в проходной комнате – скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на покое, весь лысый, чирик, который пищит – «чулки-чулки-паголенки», когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома.

Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, – так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает – не боится, и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и... тюк! – таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто салты, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли – говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке – ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка жалеет. Увидит – и скажет ласково, как цыпляткам: «Ну, ну... шши!» И они тихо уползают.

Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин встряхивает из банки в форточку: свежие приползут. И вот, я вижу – по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит, – и ставит у ног ведро.

– Имею честь поздравить с праздником! – кричит он по-солдатски, храбро. – Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарь, ельцы... всю ночь надрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополью. Прикажете на кухню?

Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синева его брюха лоснится.

– Фунтика на полтора налимчик, за редкость накрыть такого... – дивится Горкин и сам запускает руку. – Да какие подлещики-то, гляди ты, и рака захватил!..

– Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут! – говорит Денис. – На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведро, с белью больше, есть и налимчишки на подвар, шуренки, голавлишки...

Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, – видно, всю ночь ловил.

– Ладно, снеси... – говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. – А за то, помни, вычту! Выдай ему, Пан-кратыч, на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мошенник! Постой, как с водой?

– Идет льдинка, а главного не видать, можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков осьмнадцать. А так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим.

– Смотри у меня, сегодня не настаясь! – грозит отец.

– Рад стараться, лишь бы не... надорваться! – вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню.

А я дергаю Горкина и шепчу: «Это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А налим – прыг из оставленного ведра, и запрыгал по лестнице, – держи его!

Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из Синода!

Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, – «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется: «И в ошейнике ходит, а не лаает!» Медаль серебряная, «в три пуда». Третья уже медаль, а две – «за хоругви присланы». Но эта – дороже всех: «за доброусердие ко Храму Божию». Лавочки завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят: «Скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеивается: «Вот почетное-то, оно».

У лавки стоит низенький Трифоныч, в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком: прячет он что-то сзади. Я знаю что: сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести, фруктовое монпансье «ландрин». Я даже слышу – новенькой жостью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто:

– Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения, и пожалуйста пальчик, – он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет: «От Трифоныча Юрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца...» и сунет в руку коробочку.

А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце, кажется – очень бедный. Но говорит, как важный, и здороваётся с отцом за руку.

– Поздравь Горку нашу, – говорит отец, – дали ему медаль в три пуда!

Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», – говорит.

– У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Принес тебе, Сергей Иваныч, тенора-певца Усатова, из Большого театра прямо. Слышал ты его у Егорова в Охотном, облюбовал. Сделаем ему лепетицию.

– Идем чай пить с постными пирогами, – говорит отец. – А принес мелочи... записку тебе писал?

Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

– Бери в руку. Держи – не мни... – говорит он строго. – погоди, а знаешь стих – «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А – «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоеет, улета. Пускай!..

Часть 2

Я до того рад, что даже не вижу птичку, – серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу – пырхх... – но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села... – и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему

дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «Иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь Василии, очень парадный, в сияющих сапогах – в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину – «Ну-ка, продай для воли!» Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «Для общего удовольствия пускай!» Василь Василии по-своему пускает – из пригоршни.

– Все. Одни теперь тенора остались, – говорит Солодовкин, – пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатова посмотрим.

Какого – «господина Усатова»? Отец говорит, что есть такой в театре певец, Усатов, как соловей. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит – шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире... вертится турманок. Это – чистяки Горкина, его «слабость». Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня – как праздник! У него есть «монашек», «галочка», «шилохвостый», «козырные», «дутики», «путы-ноги», «турманок», «паленый», «бронзовые», «трубачи», – всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков – «по воле». Мы глядим, или, пожалуй, слышим, как «галочка-то забирает», как «турманок винтится». От стаи – белый, снежистый блеск, когда она начинает «накрываться» или «идти вертушкой». Нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину: «Галочку подоприм, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает: «Старик, сорвешься!» Я вижу и Василь Василича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат: «С Конной пустили стаю, пушкинские-мясниковы накроют «галочку!» – «И с Якиманки выпущены, Окопишников сам взялся, держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василь Василич хватается у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над «галочкой», турманок валится на нее, «головку ей крутит лихо», и «галочка» опять в стае – «освоилась». Мясникова стая пролетает на стороне – «утерлась»! Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится: рад, что прибилась «галочка». Все чистяки на крыше, сидят рядом. Горкин цапается за гребешки, сползает задом.

– Дурак старый... голову потерял, убьешься! – кричит отец.

– ...Га...лочкаааа... – слышится мне невнятно, – ...нет другой... турманишка... себя не помнит... сменяю подлеца!..

Лужи и слуховые окна пускают зайчиков: кажется, что и солнце играет с нами, веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!

Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой – называется «благовещенская», на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, – положена к обеду, а пока – первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-то не распеваются, – может быть, перекормлены? И «Усатов» не хочет петь: «стыдится, пока не обвисится». Юркий и остроносый Солодовкин, похожий на синичку, – так говорит отец, – пьет чай вприкуску, с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню, по всем трактирам первой руки висят «на прослух» гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже, всякие – и поставленные, и графы, и... Зовут в Санкт-Петербург к министрам, да туда надобно в шюртуке-параде... А, не стоит!

– Желают господа слушать настоящего соловья, есть и с пятнадцатью коленцами... найдем и «глухариную уркотню», пожалуйста в Москву, к Солодовкину! А в Питере я всех охотников знаю – плень-плень да трень-трень, да фитьюканье, а россыпи тонкой или там перещелка и не проси. Четыре медали за моих да аттестаты. А у Бакастова в Таганке висит мой полноголо-

сый, протодьяконом его кличут... так – скажешь – с ворону будет, а меленький, чисто кенарь. Охота моя, а барышей нет. А «Усатов», как Спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами – не развратится. Сурьезный соловей сразу нипочем не распоеется, знайте это за правило, как равно хорошая собака.

Отец говорит ему, что жавороночек-то... запел! Солодовкин делает в себя, глухо: «Ага!» – но нисколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает: «Товар по цене, цена – по слову». До Николы бы не запел, деньги назад бы отдал, а жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют, – только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот, мы слышим – звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только...

Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое, – самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным и Василь Василичем объезжали Москва-реку: порядок, везде – на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотом заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое Благовещение отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает вскачь. Кричат, бегут... Кричит Горкин, как дребезжит: «Робят подымай-буди!» – «Топорики забирай!» – кричат голоса в рабочей. – Срезало все, как есь!» В зал вбегает на цыпочках Василь

Василич, в красной рубахе без пояса, шипит: «Не спят папашенька?» Выбегает отец, в халате, взъерошенный, глаза навывкат, кричит небывалым голосом: «Черти!., седлать Кавказку! всех забирай, что есть... сейчас выйду!..» Василь Василич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета – «Эй, запрягать полки, грузить еще якорей, канатов!» Из кабинета выскакивает испуганный, весь в грязи, водолив Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. «Куда тебя понесло, черта?!» – кричит выбегающий отец, хватая Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних сеней я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок, стоят толпою рабочие, многие босиком; поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним Кавказке, отдает приказания; одни – под Симонов, с Горкиным, другие – под Краснохолмский, с Васильем Косым, третьи, самые крепыши и побойчей, пока с Денисом, под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать – подтягивать. И отец проскакал за ворота.

Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки, и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал пять часов, – такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой! – а срезало еще в обедни, и где теперь барки – неизвестно. Полный ледоход от верху, катится вода – за час по четверти. Орут: «Эй, топорики-ломики забирай, айда!» Нагружают полки канатами и якорями, – и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «Эй, по две пары чтобы рукавиц... сожжет!»

Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу – жавороночек опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, – под Симоновом где-то...

Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса, в передней! Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный и зазябший, пьют чай в передней. Василь Василич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана. У отца на руке повязка – ожгло канатом. Валил из самовара пар, валил и изо ртов, клубами: хлопают кипятки. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюда, почмокивает сладко.

– Ты чего, чиж, не спишь? – хватает меня отец и скидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. – Поймали барочки!

Денис-молодчик на все якорьки накинуд и развернул... знаешь Дениса-разбойника, солдата? И Горка наш, старина, и Василь Косой... все! Кланяйся им, да ниже!.. Порадовали, чер... молодчики! Сколько, скажешь, давать ребятам, а?

И тормошит-тормошит меня.

– А про себя ни словечка... как овечка... – смеется Горкин. – Денис уж сказывал: «Кричит – не поймаете, лешие, всем по шеям накостиляю!» Как уж тут не поймать... Ночь, хорошо, ясная была, месячная.

– Черта за рога вытащим, только бы поддержало было! – посмеивается Василь Василии. – Не ко времени разговины, да тут уж... без закону. Ведра четыре ребятам надо бы... Пя-ать?! Ну, Господь сам видал, чего было.

Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке, сейчас заведет про паголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василь Василича уже нет. Отец потирает лоб, потягивается сладко и говорит, зевая:

– А иди-ка ты, чижик, спать?..

1933–1948

Память преподобной Марии Египетской 1 (14) апреля

Преподобная Мария юной девушкой ушла из родительского дома и увлеклась порочной жизнью. Семнадцать лет она жила в плотских грехах, соблазняя даже паломников-христиан, и, только попав в Иерусалим, была вразумлена. У входа в храм Воскресения Христова Марию остановила невидимая рука. Охваченная ужасом, распутница стала молить Господа и Богородицу о прощении, обещая в корне исправить свою жизнь, после чего почувствовала в душе просветление и смогла войти в храм. Пролит обильные слезы у Гроба Господня, Мария удалась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню, где почти столетия провела в полном уединении, в посте и молитве.

На пятой седмице Великого поста, в среду вечером, как и в первые дни поста, читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, соединенный с каноном преподобной Марии Египетской. Кроме того, на этом богослужении, получившем название «Марино стояние», прочитывается с амвона житие этой святой.

Михаил Кузмин

Мария Египетская

М.Замятиной

Ведь Марию Египтянку
Грешной жизни пустота
Прикоснуться не пустила
Животворного Креста.
А когда пошла в пустыню,
Блуд забыв, душой проста,
Песни вольные звучали
Славой новою Христа.
Отыскал ее Зосима,
Разделив свою милоть,
Чтоб покрыла пред кончиной
Уготованную плоть.
Не грехи, а Спаса сила,
Тайной жизни чистота
Пусть соделает вам легкой
Ношу вольного креста.
А забота жизни тесной,
Незаметна и проста,
Вам зачтется, как молитва,
У воскресшего Христа,
И отыщет не Зосима,
Разделив свою милоть:
Сам Христос, придя, прикроет
Уготованную плоть.

1 апреля 1912

Сергей Бехтеев

Мария Египетская

*Посвящается глубокоуважаемой Анне Константиновне Наумовой
в память нашей беседы о дивных подвигах святой.*

Ты хочешь знать мою судьбу,
Мой путь тяжелый покаянья,
Мою жестокую борьбу
Для Царства Божьего стяжания.
Так слушай же, отец, меня,
Тебе, Зосима, я открою,
Что привело ко мне тебя,
И жизнь мою, что я не скрою:
Египет – родина моя,
Там родилась я, но, сознаюсь,
Мне не мила была семья,
И в этом я всечасно каюсь.
Двенадцати достигнув лет,
В Александрию я бежала
И в шумный и развратный свет
Безвольной девушкой попала.
Меня тянул лукавый грех,
Богатство, роскошь, блеск, наряды,
Приманкой сделавшись для всех,
Красой к себе влекла я взгляды.
Так проходили день за днем —
Распутно, гадко и бесчестно.
И этим всех влекущим злом
Я стала каждому известна.
Хотелось все мне испытать,
За деньги алчно продаваться,
В объятьях страсти утопать.
Порокам низким отдаваться...
Однажды – летнею порой,
Когда настало время жнива, —
В пути я встретила с толпой,
Бегущей к морю торопливо.
Мне захотелось знать, куда
Влечет всех странная причина,
И я узнала без труда,
Что цель их странствий – Палестина.
Ко дню Воздвиженья Креста,
Что Церковь, памятуя, чтит,
В святые Господа места

Толпа паломников спешила.
Тогда невольно мне самой
Идти на праздник захотелось.
Но не был то порыв святой,
А любопытство зла и смелость.
Я упросила взять себя,
Забавной мне толпа казалась,
Бесстыдством всех смущала я,
В пути я пела и смеялась.
Когда ж с другими в град святой
Я прибыла, пошла я прямо
Вослед за пестрою толпой
К стенам влекущего всех храма.
Но тщетно силилась войти
Я в дверь, пробившись уж к порогу, —
Незримый кто-то на пути
Мне преграждал собой дорогу.
Упрямо, долго билась я —
Все было тщетно и напрасно.
Закрит был доступ для меня.
Шли люди мимо безучастно.
Тогда со скорбною душой,
От траты сил изнемогая,
Я отошла, причины той
Себе отчета не давая...
И вдруг свет Божий озарил
Мрак сердца, полного гордыни,
Глаза духовные открыл
На бездну зла страстей рабыни.
И ужас всю меня объял,
Грехов пучину созерцая,
И голос тайный обличал
Меня, стыдом моим карая.
В слезах себя я била в грудь.
Молилась, плакала, рыдала.
Искала новый жизни путь,
К Христу Спасителю взывала.
И в этот миг, когда с тоской
Я предавалась в муках стону,
Узрела я перед собой
Христовой Матери икону.
И к Ней с слезами и мольбой
Я обратилась, умоляя
Дать мне увидеть Крест Святой
Того, Кто умер, нас спасая.
Так долго Ей молилась я,
За эту помощь обещая
Ей посвятить навек себя,
Ее веленья исполняя.

И мне почудилось тогда,
Что сердце Матери смягчилось —
И без усилий и труда
Войдя, к Кресту я приложилась.
Потом, счастливая, опять
Перед иконой я предстала
И путь, куда должна держать,
Сказать усердно умоляла.
И мне почудился в ответ,
Как некий голос в отдалении:
«За Иордан иди, от бед
Ты там найдешь свое спасенье!...»
И я покорно в путь пошла,
Мне кто-то денег дал в дорогу,
На них я хлеб приобрела
И вдаль пустилась понемногу.
У Иорданских чистых вод
В монастыре я причастилась
И снова с верою вперед
В пустыню дикую пустилась.
Здесь я нашла себе покой,
И сорок семь уж лет, Зосима,
Живу одна, и род людской
Не проходил случайно мимо.
О, если б, если бы ты знал,
Что я в пустыне испытала.
Как голод злой меня терзал,
Как солнце тело мне сжигало.
Здесь часто не было воды,
А я пьянящих вин хотела,
Хотела праздничной еды
И ласк изнеженного тела.
Напрасно силилася я
Бороться с низкими страстями,
Они огнями жгли меня,
Рубили острыми мечами.
Случалось, выбившись из сил,
Я от борьбы изнемогала
И, потеряв духовный пыл,
Как сноп, на землю упадала.
От бесконечно долгих дней
Истлела ткань моей одежды,
Горело тело от лучей,
От стужи закрывались вежды.
Но пуще этих грозных зол,
Дразня собой мои мечтанья,
Будил во мне мой женский пол
Безумно алчные желанья.
Тогда, простершись на земле,

Я к Богу пламенно взывала,
Пока, изжив себя во зле,
Плотская страсть не угасала.
И в этот дивный, чудный миг
Свет озарял меня чудесный,
И снова был мне близок Лик
Моей Заступницы Небесной.
Так я семнадцать долгих лет
Шла по пути земных страданий,
Переноса все скорби бед
И все лишенья испытаний.
А после – вдруг настал покой.
Крест спал с меня неуловимо.
Вот Небом данный жребий мой!
Вот тайный подвиг мой, Зосима!..

Ницца, 22 июля 1950

Лазарева суббота

Каждый год накануне Вербного воскресенья Православная Церковь вспоминает одно из главных чудес, сотворенных Господом Иисусом Христом, – воскрешение Лазаря.

Федор Достоевский

Из романа «Преступление и наказание»

Часть 4, глава 4 (отрывок)

Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания.

– Это вы-то жестокая?

– Да я, я! Я пришла тогда, – продолжала она плача, – а покойник и говорит: «прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне... вот книжка», – какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезят-никова, тут живет, он такие смешные книжки все доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста».

Пожалуйста попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать? Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любитесь, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, – так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то и не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала, все эти прежние слова. Ох, я... да что!.., вам ведь все равно!

– Эту Лизавету торговку вы знали?

– Да... А вы разве знали? – с некоторым удивлением переспросила Соня.

– Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, – сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

– Ох, нет, нет, нет! – И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрасывая, чтобы нет.

– Да ведь это ж лучше, коль умрет.

– Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! – испуганно и безотчетно повторяла она.

– А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

– Ох уж не знаю! – вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль.

– Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболите и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? – безжалостно настаивал он.

– Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! – и лицо Сони искривилось страшным испугом.

– Как не может быть? – продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, – не застрахованы же вы? Тогда что с ними станет? На улицу всюю гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать... А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

– Ох, нет!.. Бог этого не попустит! – вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него все и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

– А копить нельзя? На черный день откладывать? – спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

– Нет, – прошептала Соня.

– Разумеется, нет! А пробовали? – прибавил он чуть не с насмешкой.

– Пробовала.

– И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

– Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

– Нет, – прошептала она с мучительным усилием.

– С Полечкой, наверно, то же самое будет, – сказал он вдруг.

– Нет! нет! Не может быть, нет! – как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. – Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

– Других допускает же.

– Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. – повторяла она, не помня себя.

– Да, может, и Бога-то совсем нет, – с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

– Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, – проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

– Что вы, что вы это? Передо мной! – пробормотала она, побледнев, и больно-больно жало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

– Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческого поклонился, – как-то дико произнес он и отошел к окну. – Слушай, – прибавил он, воротившись к ней через минуту, – я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

– Ах, что вы это им сказали! И при ней? – испуганно вскрикнула Соня, – сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная... я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

– Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, – прибавил он почти восторженно, – а пуще всего тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза

раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, – проговорил он, почти в исступлении, – как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими, противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

– А с ними-то что будет? – слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно, обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор, она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену голову.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву...

«Ей три дороги, – думал он: – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, – воскликнул он про себя, – неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! – восклицал он, как давеча Соня, – нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и *они, те...* Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадной ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве все это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

– Так ты очень молишься Богу-то, Соня? – спросил он ее.

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

– Что ж бы я без Бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» – подумал он.

– А тебе Бог что за это делает? – спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

– Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!.. – вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» – повторял он настойчиво про себя.

– Все делает! – быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» – твердил он про себя.

На комодѣ лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

– Это откуда? – крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола.

– Мне принесли, – ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

– Кто принес?

– Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» – подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

– Где тут про Лазаря? – спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

– Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

– Не там смотрите... в четвертом Евангелии... – сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.